

Повести

МОЛОХ

I

Заводский гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый, непрерывный звук, казалось, выходил из-под земли и низко растилался по ее поверхности. Мутный рассвет дождливого августовского дня придавал ему суровый оттенок тоски и угрозы.

Гудок застал инженера Боброва за чаем. В последние дни Андрей Ильич особенно сильно страдал бессонницей. Вечером, ложась в постель с тяжелой головой и поминутно вздрагивая, точно от внезапных толчков, он все-таки забывался довольно скоро спокойным, нервным сном, но просыпался задолго до света, совсем разбитый, обессиленный и раздраженный.

Причиной этому, без сомнения, было нравственное и физическое переутомление, а также давняя привычка к подкожным впрыскиваниям морфия, — привычка, с которой Бобров на днях начал упорную борьбу.

Теперь он сидел у окна и маленькими глотками прихлебывал чай, казавшийся ему травянистым и безвкусным. По стеклам зигзагами сбегали капли. Лужи на дворе морщило и рябило от дождя. Из окна было видно небольшое квадратное озеро, окруженное, точно рамкой, косматыми ветлами, с их низкими голыми стволами и серой зеленью. Когда поднимался ветер, то на поверхности озера вздувались

и бежали, будто торопясь, мелкие, короткие волны, а листья ветел вдруг подергивались серебристой сединой. Блеклая трава бессильно приникала под дождем к самой земле. Дома ближайшей деревушки, деревья леса, протянувшегося зубчатой темной лентой на горизонте, поле в черных и желтых заплатах — все вырисовывалось серо и неясно, точно в тумане.

Было семь часов, когда, надев на себя клеенчатый плащ с капюшоном, Бобров вышел из дому. Как многие нервные люди, он чувствовал себя очень плохо по утрам: тело было слабо, в глазах ощущалась тупая боль, точно кто-то давил на них сильно снаружи, во рту — неприятный вкус. Но всего больнее действовал на него тот внутренний, душевный разлад, который он примечал в себе с недавнего времени. Товарищи Боброва, инженеры, глядевшие на жизнь с самой несложной, веселой и практической точки зрения, наверно, осмеяли бы то, что причиняло ему столько тайных страданий, и уж во всяком случае не поняли бы его. С каждым днем в нем все больше и больше нарастало отвращение, почти ужас к службе на заводе.

По складу его ума, по его привычкам и вкусам ему лучше всего было посвятить себя кабинетным занятиям, профессорской деятельности или сельскому хозяйству. Инженерное дело не удовлетворяло его, и, если бы не настоятельное желание матери, он оставил бы институт еще на третьем курсе.

Его нежная, почти женственная натура жестоко страдала от грубых прикосновений действительности, с ее будничными, но суровыми нуждами. Он сам себя сравнивал в этом отношении с человеком, с которого заживо содрали кожу. Иногда мелочи, не замеченные другими, причиняли ему глубокие и долгие огорчения.

Наружность у Боброва была скромная, неяркая... Он был невысок ростом и довольно худ, но в нем чувствовалась нервная, порывистая сила. Большой белый прекрасный лоб прежде всего обращал на себя внимание на его лице. Расширенные и притом неодинаковой величины зрачки были так велики, что глаза вместо серых казались черными. Густые, неровные брови сходились у переносья и придавали этим глазам строгое, пристальное и точно аскетическое выражение. Губы у Андрея Ильича были нервные, тонкие, но не злые, и немного несимметричные: правый угол рта приходился немного выше левого; усы и борода маленькие, жидкие, белесоватые, совсем мальчишеские. Прелесть его в сущности некрасивого лица заключалась только в улыбке. Когда Бобров смеялся, глаза его становились нежными и веселыми, и все лицо делалось привлекательным.

Пройдя полверсты, Бобров взобрался на пригорок. Прямо под его ногами открылась огромная панорама завода, раскинувшегося на пятьдесят квадратных верст. Это был настоящий город из красного кирпича, с лесом высоко торчащих в воздухе закопченных труб, — город, весь пропитанный запахом серы и железного угара, оглушаемый вечным несмолкаемым грохотом. Четыре доменные печи господствовали над заводом своими чудовищными трубами. Рядом с ними возвышалось восемь кауперов, предназначенных для циркуляции нагретого воздуха, — восемь огромных железных башен, увенчанных круглыми куполами. Вокруг доменных печей разбросались другие здания: ремонтные мастерские, литейный двор, промывная, паровозная, рельсопрокатная, мартеновские и пудлинговые печи и так далее.

Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во всех направлениях сновали маленькие паровозы. Показываясь на самой нижней

ступени, они с пронзительным свистом летели наверх, исчезали на несколько секунд в туннелях, откуда вырывались, окутанные белым паром, гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи.

Дальше, за этой природной террасой, глаза разбегались на том хаосе, который представляла собою местность, предназначенная для возведения пятой и шестой доменных печей. Казалось, какой-то страшный подземный переворот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня, кирпича разных величин и цветов, песчаных пирамид, гор плитняка, штабелей железа и леса. Все это было нагромождено как будто бы без толку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман, в воздухе.

Еще дальше, на самом краю горизонта, около длинного товарного поезда толпились рабочие, разгружавшие его. По наклонным доскам, спущенным из вагонов, непрерывным потоком катились на землю кирпичи; со звоном и дребезгом падало железо; летели в воздухе, изгибаясь и пружинясь на лету, тонкие доски. Одни подводы направлялись к поезду порожняком, другие вереницей возвращались оттуда, нагруженные доверху. Тысячи звуков смешивались здесь в длинный скачущий гул: тонкие, чистые и твердые звуки каменщицких зубил, звонкие удары клепальщиков, чеканящих заклепы на котлах, тяжелый грохот паровых молотов, могучие вздохи и свист паровых труб и изредка глухие подземные взрывы, заставлявшие дрожать землю.

Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд кипел здесь, как огромный, слож-

ный и точный механизм. Тысячи людей — инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов — собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинувшись железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса.

Нынешний день Бобров особенно нехорошо себя чувствовал. Иногда, хотя и очень редко — раза три или четыре в год, у него являлось весьма странное, меланхолическое и вместе с тем раздражительное настроение духа. Случалось это обыкновенно в пасмурные осенние утра или по вечерам, во время зимней ростепели. Все в его глазах приобретало скучный и бесцветный вид, человеческие лица казались мутными, некрасивыми или болезненными, слова звучали откуда-то издали, не вызывая ничего, кроме скуки. Особенно раздражали его сегодня, когда он обходил рельсопрокатный цех, бледные, выпачканные углем и высушенные огнем лица рабочих. Глядя на их упорный труд в то время, когда их тела обжигал жар раскаленных железных масс, а из широких дверей дул пронзительный осенний ветер, он сам как будто бы испытывал часть их физических страданий. Ему тогда становилось стыдно и за свой выхоленный вид, и за свое тонкое белье, и за три тысячи своего годового жалованья...

II

Он стоял около сварочной печи, следя за работой. Каждую минуту громадный пылающий зев печи широко раскрывался, чтобы поглощать один за другим двадцатипудовые «пакеты» раскаленной добела стали, только что вышедшие из пламенных печей.

Через четверть часа они, протянувшись с страшным грохотом через десятки станков, уже складывались на другом конце мастерской длинными, гладкими, блестящими рельсами.

Кто-то тронул Боброва сзади за плечо. Он досадливо обернулся и увидел одного из сослуживцев — Свежевского.

Этот Свежевский, с его всегда немного согнутой фигурой — не то крадущейся, не то кланяющейся, — с его вечным хихиканьем и потиранием холодных, мокрых рук, очень не нравился Боброву. В нем было что-то заискивающее, обиженное и злобное. Он вечно знал раньше всех заводские сплетни и выкладывал их с особенным удовольствием перед тем, кому они были наиболее неприятны; в разговоре же нервно суетился и ежеминутно притрогивался к бокам, плечам, рукам и пуговицам собеседника.

— Что это вас, батенька, так давно не видно? — спросил Свежевский; он хихикал и мял в своих руках руку Андрея Ильича. — Все сидите и книжки почитываете? Почитываете все?

— Здравствуйте, — отозвался нехотя Бобров, отымая руку. — Просто мне нездоровилось это время.

— У Зиненко за вами все соскучились, — продолжал многозначительно Свежевский. — Отчего вы у них не бываете? А там третьего дня был директор и о вас справлялся. Разговор зашел как-то о доменных работах, и он о вас отзывался с большой похвалой.

— Весьма польщен, — насмешливо поклонился Бобров.

— Нет, серьезно... Говорил, что правление вас очень ценит, как инженера, обладающего большими знаниями, и что вы, если бы захотели, могли бы пойти очень далеко. По его мнению, нам вовсе не

следовало бы отдавать французам выработать проект завода, если дома есть такие сведущие люди, как Андрей Ильич. Только...

«Сейчас что-нибудь неприятное скажет», — подумал Бобров.

— Только, говорит, нехорошо, что вы так удаляетесь от общества и производите впечатление замкнутого человека. Никак не поймешь, кто вы такой на самом деле, и не знаешь, как с вами держаться. Ах, да! — вдруг хлопнул себя по лбу Свежевский. — Я вот болтаю, а самое важное позабыл вам сказать... Директор просил всех быть непременно завтра к двенадцатичасовому поезду на вокзале.

— Опять будем встречать кого-нибудь?

— Совершенно верно. Угадайте, кого?

Лицо Свежевского приняло лукавое и торжествующее выражение. Он потирал руки и, по-видимому, испытывал большое удовольствие, готовясь сообщить интересную новость.

— Право, не знаю, кого... Да я и не мастер вовсе угадывать, — сказал Бобров.

— Нет, голубчик, отгадайте, пожалуйста... Ну, хоть так, наугад, кого-нибудь назовите...

Бобров замолчал и стал с преувеличенным вниманием следить за действиями парового крана. Свежевский заметил это и засуетился еще больше прежнего.

— Ни за что не скажете... Ну, да я уже не буду вас больше томить. Ждут самого Квашнина.

Фамилию он произнес с таким откровенным подбострастием, что Боброву даже сделалось противно.

— Что же вы тут находите особенно важного? — спросил небрежно Андрей Ильич.

— Как «что же особенного»? Помилуйте. Ведь он в правлении, что захочет, то и делает: его, как ораку-

ла, слушают. Вот и теперь: правление уполномочило его ускорить работы, то есть, иными словами, он сам себя уполномочил к этому. Вы увидите, какие громы и молнии у нас пойдут, когда он приедет. В прошлом году он постройку осматривал — это, кажется, до вас еще было?.. Так директор и четверо инженеров полетели со своих мест к черту. У вас задувка¹ скоро окончится?

— Да, уже почти готова.

— Ну, это хорошо. При нем, значит, и открытие отпразднуем и начало каменных работ. Вы Квашнина самого встречали когда-нибудь?

— Ни разу. Фамилию, конечно, слышал...

— А я так имел удовольствие. Это ж, я вам доложу, такой тип, каких больше не увидите. Его весь Петербург знает. Во-первых, так толст, что у него руки на животе не сходятся. Не верите? Честное слово. У него и особая карета такая есть, где вся правая сторона отворяется на шарнирах. При этом огромного роста, рыжий, и голос, как труба иерихонская. Но что за умница! Ах, боже мой!.. Во всех акционерных обществах состоит членом правления... получает двести тысяч всего только за семь заседаний в год! Зато уже, когда на общих собраниях надо спасать ситуацию, — лучше его не найти. Самый сомнительный годовой отчет он так доложит, что акционерам черное белым покажется, и они потом уже не знают, как им выразить правлению свою благодарность. Главное: он никогда и с делом-то вовсе не знаком, о котором говорит, и берет прямо апломбом. Вы за-

¹ Задувкой доменной печи называется разогревание ее перед началом работы до температуры плавления руды, приблизительно до 1600 °С. Самое действие печи называется «кампанией». Задувка продолжается иногда несколько месяцев. (Примеч. автора.)

втра послушаете его, так, наверно, подумаете, что он всю жизнь только и делал, что около доменных печей возился, а он в них столько же понимает, сколько я в санскритском языке.

— На-ра-ра-ра-рам! — фальшиво и умышленно небрежно запел Бобров, отворачиваясь.

— Да вот... на что лучше... Знаете, как он принимает в Петербурге? Сидит голый в ванне по самое горло, только голова его рыжая над водою сияет, — и слушает. А какой-нибудь тайный советник стоит, почтительно перед ним согнувшись, и докладывает... Обжора он ужасный... и действительно умеет поест; во всех лучших ресторанах известны битки а la Квашнин. А уж насчет бабья и не говорите. Три года тому назад с ним прекомичный случай вышел...

И, видя, что Бобров собирается уйти, Свежевский схватил его за пуговицу и умоляюще зашептал:

— Позвольте... это так смешно... позвольте, я сейчас... в двух словах. Видите ли, как дело было. Приезжает осенью, года три тому назад, в Петербург один бедный молодой человек — чиновник, что ли, какой-то... я даже его фамилию знаю, только не могу теперь вспомнить. Хлопочет этот молодой человек о спорном наследстве и каждое утро, возвращаясь из присутственных мест, заходит в Летний сад, посидеть четверть часа на скамеечке... Ну-с, хорошо. Сидит он три дня, четыре, пять и замечает, что ежедневно с ним гуляет по саду какой-то рыжий господин необычайной толщины... Они знакомятся. Рыжий, который оказывается Квашниным, разузнает от молодого человека все его обстоятельства, принимает в нем участие, жалеет... Однако фамилии ему своей не говорит. Ну-с, хорошо. Наконец однажды рыжий предлагает молодому человеку: «А что, согласились ли бы вы жениться на одной особе, но

с уговором — сейчас же после свадьбы с ней разъехаться и больше не видаться?» А молодой человек как раз в это время чуть с голоду не умирал. «Согласен, — говорит, — только смотря по тому, какое вознаграждение, и деньги вперед». Заметьте, тоже молодой человек знает, с какого конца спаржу едят. Ну-с, хорошо... Сговорились они. Через неделю рыжий одевает молодого человека во фрак и чуть свет везет куда-то за город, в церковь. Народу никого; невеста уже дожидается, вся закутанная в вуаль, однако видно, что хорошенькая и совсем молодая. Начинается венчание. Только молодой человек замечает, что его невеста стоит какая-то печальная. Он ее и спрашивает шепотом: «Вы, кажется, против своей охоты сюда приехали?» А она говорит: «Да и вы, кажется, тоже?» Так они и объяснились между собой. Оказывается, что девушку принудила выйти замуж ее же мать. Прямо-то отдать дочь Квашнину маменьке все-таки мешала совесть... Ну-с, хорошо... Стоят они, стоят... молодой человек-то и говорит: «А давайте-ка удерем такую штуку: оба мы с вами молоды, впереди еще для нас может быть много хорошего, давайте-ка оставим Квашнина на бобах». Девица решительная и с быстрым соображением. «Хорошо, — говорит, — давайте». Окончилось венчанье, выходят все из церкви, Квашнин так и сияет. А молодой человек даже и деньги с него вперед получил, да и немалые деньги, потому что Квашнин в этих случаях ни за какими капиталами не постоит. Подходит он к молодым и поздравляет с самым ироническим видом. Те слушают его, благодарят, посаженным папенькой называют, и вдруг оба — прыг в коляску. «Что такое? Куда?» — «Как куда? На вокзал, свадебную поездку совершать. Кучер, пошел!..» Так Василий Терентьевич и остался на месте с разинутым ртом... А то вот однажды... Что это? Вы уже

уходите, Андрей Ильич? — прервал свою болтовню Свежевский, видя, что Бобров с решительным видом поправляет на голове шляпу и застегивает пуговицы пальто.

— Извините, мне некогда, — сухо ответил Бобров. — А что касается вашего анекдота, то я его еще раньше где-то слышал или читал... Мое почтение.

И, повернувшись спиной к Свежевскому, озадаченному его резкостью, он быстро вышел из мастерской.

III

Вернувшись с завода и наскоро пообедав, Бобров вышел на крыльцо. Кучер Митрофан, еще раньше получивший приказание оседлать Фарватера, гнедую донскую лошадь, с усилием затягивал подпругу английского седла. Фарватер надувал живот и несколько раз быстро изгибал шею, ловя зубами рукав Митрофановой рубашки. Тогда Митрофан кричал на него сердитым и ненатуральным басом: «Но-о! Балуй, идол!» — и прибавлял, кряхтя от напряжения: «Ишь ты, животная».

Фарватер — жеребец среднего роста, с массивною грудью, длинным туловищем и поджарым, немного вислым задом — легко и стройно держался на крепких мохнатых ногах, с надежными копытами и тонкой бабкой. Знаток остался бы недоволен его горбоносой мордой и длинной шеей с острым, выдающимся кадыком. Но Бобров находил, что эти особенности, характерные для всякой донской лошади, составляют красоту Фарватера так же, как кривые ноги у таксы и длинные уши у сеттера. Зато во всем заводе не было лошади, которая могла бы обскатать Фарватера.

Хотя Митрофан и считал необходимым, как и всякий хороший русский кучер, обращаться с лошастью сурово, отнюдь не позволяя ни себе, ни ей никаких проявлений нежности, и поэтому называл ее и «каторжной», и «падалью», и «убивцею», и даже «хамлетом», тем не менее он в глубине души страстно любил Фарватера. Эта любовь выражалась в том, что донской жеребчик был и вычищен лучше и овса получал больше, чем другие казенные лошади Боброва: Ласточка и Черноморец.

— Поил ты его, Митрофан? — спросил Бобров.

Митрофан ответил не сразу. У него была и еще одна повадка хорошего кучера — медлительность и степенность в разговоре.

— Попоил, Андрей Ильич, как же не попоимшито. Но, ты, озирайся, леший! Я тебе поверчу морду-то! — крикнул он сердито на лошадь. — Страсть, барин, как ему охота нынче под седлом идти. Не терпится.

Едва только Бобров подошел к Фарватеру и, взяв в левую руку поводья, обмотал вокруг пальцев гривку, как началась история, повторявшаяся чуть ли не ежедневно. Фарватер, уже давно косившийся большим сердитым глазом на подходившего Боброва, начал плясать на месте, выгибая шею и разбрасывая задними ногами комья грязи. Бобров прыгал около него на одной ноге, стараясь вдеть ногу в стремя.

— Пусти, пусти поводья, Митрофан! — крикнул он, поймав наконец стремя, и в тот же момент, перебросив ногу через круп, очутился в седле.

Почувствовав шенкеля всадника, Фарватер тотчас же смирился и, переменяв несколько раз ногу, фыркая и мотая головой, взял от ворот широким, упругим галопом...

Быстрая езда, холодный ветер, свистевший в уши, свежий запах осеннего, слегка мокрого поля очень

скоро успокоили и оживили вялые нервы Боброва. Кроме того, каждый раз, отправляясь к Зиненкам, он испытывал приятный и тревожный подъем духа.

Семья Зиненок состояла из отца, матери и пятирех дочерей. Отец служил на заводе и заведовал складом. Этот ленивый и добродушный с виду гигант был в сущности очень пронырливым и каверзным господином. Он принадлежал к числу тех людей, которые под видом высказывания всякому в глаза «истинной правды» грубо, но приятно льстят начальству, откровенно ябедничают на сослуживцев, а с подчиненными обращаются самым безобразно-деспотическим образом. Он спорил из-за всякого пустяка, не слушая возражений и хрипло крича; любил поесть и питал слабость к хоровому малорусскому пению, причем неизменно фальшивил. Он, незаметно для самого себя, находился под башмаком у своей жены — женщины маленького роста, болезненной и жеманной, с крошечными серыми глазками, до смешного близко поставленными к переносью.

Дочерей звали: Мака, Бета, Шурочка, Нина и Кася.

Каждой из них в семье было отведено свое амплуа. Мака, девица с рыбьим профилем, пользовалась репутацией ангельского характера. «Уж эта Мака — сама простота», — говорили про нее родители, когда она во время прогулок и вечеров ступавалась на задний план в интересах младших сестер (Маке уже перевалило за тридцать).

Бета считалась умницей, носила пенсне и, как говорили, хотела даже когда-то поступить на курсы. Она держала голову склоненной набок и вниз, как старая пристяжная, и ходила ныряющей походкой, то подымаясь, то опускаясь при каждом шаге. К новым гостям она приставала со спорами о том, что

женщины лучше и честнее мужчин, или с наивной игривостью просила: «Вы такой проникательный... ну вот, определите мой характер». Когда разговор переходил на одну из классических домашних тем: «Кто выше: Лермонтов или Пушкин?» или: «Способствует ли природа смягчению нравов?» — Бету выдвигали вперед, как боевого слона.

Третья дочь, Шурочка, избрала специальностью игру в дурачки со всеми холостыми инженерами по очереди. Как только узнавала она, что ее старый партнер собирается жениться, она, подавляя огорчение и досаду, избирала себе нового. Конечно, игра велась с милыми шутками и маленьким пленительным плутовством, причем партнера называли «противным» и били по рукам картами.

Нина считалась в семье общей любимицей, избалованным, но прелестным ребенком. Она была выродком среди своих сестер с их массивными фигурами и грубоватыми, вульгарными лицами. Может быть, одна только madame Зиненко могла бы удовлетворительно объяснить, откуда у Ниночки взялась эта нежная, хрупкая фигурка, эти почти аристократические руки, хорошенькое смугловатое личико, все в родинках, маленькие розовые уши и пышные, тонкие, слегка выющиеся волосы. На нее родители возлагали большие надежды, и ей поэтому разрешалось все: и объедаться конфетами, и мило картавить, и даже одеваться лучше сестер.

Самой младшей, Касе, исполнилось недавно четырнадцать лет, но этот феноменальный ребенок перерос на целую голову свою мать, далеко превзойдя старших сестер могучей рельефностью форм. Ее фигура давно уже вызывала пристальные взоры заводской молодежи, совершенно лишенной, по отдаленности от города, женского общества, и Кася принима-

ла эти взоры с наивным бесстыдством рано созревшей девочки.

Это разделение семейных прелестей было хорошо известно на заводе, и один шутник сказал как-то, что если уж жениться на Зиненках, то непременно на всех пятерых сразу. Инженеры и студенты-практиканты глядели на дом Зиненко, как на гостиницу, толклись там с утра до ночи, много ели, еще больше пили, но с удивительной ловкостью избегали брачных сетей.

В этой семье Боброва недолюбливали. Мещанские вкусы madame Зиненко, стремившейся все подвести под линию пошлого и благополучно скучного провинциального приличия, оскорблялись поведением Андрея Ильича. Его желчные остроты, когда он бывал в духе, встречались с широко раскрытыми глазами, и, наоборот, когда он молчал целыми вечерами, вследствие усталости и раздражения, его подозревали в скрытности, в гордости, в молчаливом иронизировании, даже — о! это было всего ужаснее! — даже подозревали, что он «пишет в журналы повести и собирает для них типы».

Бобров чувствовал эту глухую вражду, выражавшуюся в небрежности за столом, в удивленном пожимании плечей матери семейства, но все-таки продолжал бывать у Зиненок. Любил ли он Нину? На это он сам не мог бы ответить. Когда он трое или четверо суток не бывал в их доме, воспоминание о ней заставляло его сердце биться со сладкой и тревожной грустью. Он представлял себе ее стройную, грациозную фигурку, улыбку ее томных, окруженных тенью глаз и запах ее тела, напоминавший ему почему-то запах молодых клейких почек тополя.

Но стоило ему побывать у Зиненок три вечера подряд, как его начинало томить их общество, их

фразы, — всегда одни и те же в одинаковых случаях, — шаблонные и неестественные выражения их лиц. Между пятью «барышнями» и «ухаживавшими» за ними «кавалерами» (слова зиненковского обихода) раз навсегда установились пошло-игривые отношения. И те и другие делали вид, будто они составляют два враждующих лагеря. То и дело один из кавалеров, шутя, похищал у барышни какую-нибудь вещь и уверял, что не отдаст ее; барышни дулись, шептались между собой, называли шутника «противным» и все время хохотали деревянным, громким, неприятным хохотом. И это повторялось ежедневно, сегодня совершенно в тех же словах и с теми же жестами, как вчера. Бобров возвращался от Зиненок с головной болью и с нервами, утомленными их провинциальным ломаньем.

Таким образом, в душе Боброва чередовалась тоска по Нине, по нервному пожатию ее всегда горячих рук, с отвращением к скуке и манерности ее семьи. Бывали минуты, когда он уже совершенно готовился сделать ей предложение. Тогда его не остановило бы даже сознание, что она, с ее кокетством дурного тона и душевной пустотой, устроит из семейной жизни ад, что он и она думают и говорят на разных языках. Но он не решался и молчал.

Теперь, подъезжая к Шепетовке, он уже заранее знал, что и как там будут говорить в том или другом случае, даже представлял себе выражение лиц. Он знал, что когда с их террасы увидят его верхом на лошади, то сначала между барышнями, всегда находящимися в ожидании «приятных кавалеров», подымется длинный спор о том, кто это едет. Когда же он приблизится, то угадавшая начнет подпрыгивать, бить в ладоши, прицелкивать языком и задорно выкрикивать: «А что? А что? Я угадала, я угадала!» Вслед за тем она побежит к Анне Афанасьевне: «Ма-

ма, Бобров едет, я первая угадала!» А мама, лениво перетирая чайные чашки, обратится к Нине — непременно к Нине — таким тоном, как будто бы она передает что-то смешное и неожиданное: «Ниночка, знаешь, Бобров едет». И уже после этого все они вместе чрезвычайно и очень громко изумятся, увидя входящего Андрея Ильича.

IV

Фарватер шел, звучно фыркая и попрашивая поводыев. Вдали показался дом Шепетовской экономии. Из густой зелени сиреней и акаций едва виднелись его белые стены и красная крыша. Под горой небольшой пруд выпукло подымался из окружавших его зеленых берегов.

На крыльце стояла женская фигура. Бобров издали узнал в ней Нину по ярко-желтой кофточке, так красиво оттенявшей смуглый цвет ее лица, и тотчас же, подтянув Фарватеру поводья, выпрямился и высвободил носки ног, далеко залезшие в стремяна.

— Вы опять на своем сокровище приехали? Ну вот, просто видеть не могу этого уroda! — крикнула с крыльца Нина веселым и капризным голосом избалованного ребенка. У нее уже давно вошло в привычку дразнить Боброва его лошадьё, к которой он был так привязан. Вообще в доме Зиненок вечно кого-нибудь и чем-нибудь дразнили.

Бросив поводья подбежавшему заводскому конюху, Бобров похлопал крутую, потемневшую от пота шею лошади и вошел вслед за Ниной в гостиную. Анна Афанасьевна, сидевшая за самоваром, сделала вид, будто необычайно поражена приездом Боброва.

— А-а-а! Андрей Ильич! Наконец-то вы к нам пожаловали!.. — воскликнула она нараспев.

И ткнув ему руку прямо в губы, когда он здоровался с ней, она своим громким носовым голосом спросила:

— Чаю? Молока? Яблоков? Говорите, чего хотите.

— Мерсі, Анна Афанасьевна.

— Мерсі — оші, ош мерсі — поп?¹

Подобные французские фразы были неизменны в семье Зиненко. Бобров отказался от всего.

— Ну, так идите на террасу, там молодежь затеяла какие-то фанты, что ли, — милостиво разрешила madame Зиненко.

Когда он вышел на балкон, все четыре барышни разом, совершенно тем же тоном и так же в нос, как их маменька, воскликнули:

— А-а-а! Андрей Ильич! Вот уж кого давно-то не было видно! Чего вам принести? Чаю? Яблоков? Молока? Не хотите? Нет, правда? А может быть, хотите? Ну, в таком случае садитесь здесь и принимайте участие.

Играли в «барыня прислала сто рублей», в «мнения» и еще в какую-то игру, которую шепелявая Кася называла «играть в пошуду». Из гостей были: три студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластические позы, выставив вперед ногу и заложив руку в задний карман сюртука; был техник Миллер, отличавшийся красотой, глупостью и чудесным баритоном, и, наконец, какой-то молчаливый господин в сером, не обращавший на себя ничьего внимания.

Игра не ладилась. Мужчины исполняли свои фанты со снисходительным и скучающим видом; девицы вовсе от них отказывались, перешептывались и напряженно хохотали.

¹ Спасибо — да, или спасибо — нет? (фр.)

Смеркалось. Из-за крыш ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна.

— Дети, идите в комнаты! — крикнула из столовой Анна Афанасьевна. — Попросите Миллера, чтобы он нам спел что-нибудь.

Через минуту голоса барышень уже слышались в комнатах.

— Нам было очень весело, — щебетали они вокруг матери, — мы так смеялись, так смеялись...

На балконе остались только Нина и Бобров. Она сидела на перилах, обхвативши столб левой рукой и прижавшись к нему в бессознательно грациозной позе. Бобров поместился на низкой садовой скамеечке у самых ее ног и снизу вверх, заглядывая ей в лицо, видел нежные очертания ее шеи и подбородка.

— Ну, расскажите же что-нибудь интересное, Андрей Ильич, — нетерпеливо приказала Нина.

— Право, я не знаю, что бы вам рассказать, — возразил Бобров. — Ужасно трудно говорить по заказу. Я и то уж думаю: нет ли такого разговорного сборника, на разные темы...

— Фу-у! Какой вы ску-учный, — протянула Нина. — Скажите, когда вы бываете в духе?

— А вы мне скажите, почему вы так боитесь молчания? Чуть разговор немножко иссяк, вам уже и не по себе... А разве дурно разговаривать молча?

— «Мы будем с тобой молчали-ивы...» — пропела насмешливо Нина.

— Конечно, будем молчаливы. Посмотрите: небо ясное, луна рыжая, большущая, на балконе так тихо... Чего же еще?..

— «И эта глупая луна на этом глупом небосклоне», — продекламировала Нина. — А propos¹, вы слы-

¹ Кстати (*фр.*).

шали, что Зиночка Маркова выходит замуж за Протопопова? Выходит-таки! Удивительный человек этот Протопопов. — Она пожала плечами. — Три раза ему Зина отказывала, и он все-таки не мог успокоиться, сделал в четвертый раз предложение. И пускай на себя пеняет. Она его, может быть, будет уважать, но любить — никогда!

Этих слов было достаточно, чтобы расшевелить желчь в душе Боброва. Его всегда выводил из себя узкий, мещанский словарь Зиненок, с выражениями вроде: «Она его любит, но не уважает», «Она его уважает, но не любит». Этими словами в их понятиях исчерпывались самые сложные отношения между мужчиной и женщиной, точно так же, как для определения нравственных, умственных и физических особенностей любой личности у них существовало только два выражения: «брюнет» и «блондин».

И Бобров, из смутного желания разбередить свою злобу, спросил;

— Что же такое представляет собою этот Протопопов?

— Протопопов? — задумалась на секунду Нина. — Он... как бы вам сказать... довольно высокого роста... шатен!..

— И больше ничего?

— Чего же еще? Ах, да: служит в акцизе...

— И только? Да неужели, Нина Григорьевна, у вас для характеристики человека не найдется ничего, кроме того, что он шатен и служит в акцизе! Подумайте: сколько в жизни встречается нам интересных, талантливых и умных людей. Неужели все это только «шатены» и «акцизные чиновники»? Посмотрите, с каким жадным любопытством наблюдают жизнь крестьянские дети и как они метки в своих суждениях. А вы, умная и чуткая девушка, проходите мимо всего равнодушно, потому что у вас есть в за-

пасе десяток шаблонных, комнатных фраз. Я знаю, если кто-нибудь упомянет в разговоре про луну, вы сейчас же вставите: «Как эта глупая луна», и так далее. Если я расскажу, положим, какой-нибудь выходящий из ряда обыкновенных случай, я наперед знаю, что вы заметите: «Свежо предание, а верится с трудом». И так во всем, во всем... Поверьте мне, ради бога, что все самобытное, своеобразное...

— Я вас прошу не читать мне нравоучений! — отозвалась резко Нина.

Он замолчал с ощущением горечи во рту, и они оба сидели минут пять тихо и не шевелясь. Вдруг из гостиной послышались звучные аккорды, и немного тронутый, но полный глубокого выражения голос Миллера запел:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Озлобленное настроение Боброва быстро улеглось, и он жалел теперь, что огорчил Нину. «Для чего вздумал я требовать от ее наивного, свежего, детского ума оригинальной смелости? — думал он. — Ведь она как птичка: щебечет первое, что ей приходит в голову, и, почему знать, может быть, это щебетанье даже гораздо лучше, чем разговоры об эмансипации, и о Ницше, и о декадентах?»

— Нина Григорьевна, не сердитесь на меня. Я увлекся и наговорил глупостей, — сказал он вполголоса.

Нина молчала, отвернувшись от него и глядя на восходившую луну. Он отыскал в темноте ее свесившуюся руку и, нежно пожав ее, прошептал:

— Нина Григорьевна... Пожалуйста...

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Молох	7
Олеся	107
Суламифь	202
Гранатовый браслет	270

РАССКАЗЫ

Лунной ночью	333
Первый встречный	346
Сильнее смерти	359
Фиалки	362
Сентиментальный роман	371